

В. Ходасевич

О ДВУХ ОТРЫВКАХ ПУШКИНА

Три года тому назад, работая над «Поэтическим хозяйством Пушкина», я пришел, между прочим, к выводу, что стихотворение «Куда же ты? — В Москву», печатаемое всегда в качестве самостоятельной пьесы под вымышленным (и бессмысленным) заглавием «Из записки к приятелю», в действительности является просто окончанием стихотворения «Румяный критик мой», которое до тех пор считалось неоконченным. К моему мнению безоговорочно присоединились М.О. Гершензон, М.А. Цявловский и Б. Томашевский.

Тогда же, в процессе работы, возникло у меня еще одно предположение, отчасти сходное с предыдущим. Однако, несмотря на все поиски, никаких объективных подтверждений моей догадки на сей раз добыть мне не удалось, точно так же, как я не встретился ни с чем, что могло бы послужить к ее опровержению. Поэтому я и решаюсь высказать свою мысль в качестве всего лишь гипотезы, представляющей, может быть, известный интерес для любящих Пушкина.

Дело идет о стихотворении «Когда за городом». Для наглядности привожу его полностью по исправленному тексту, предложенному М.Л. Гофманом («Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV, стр. 408—411).

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нишенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колебясь и шумя...

Стихотворение известно в рукописи, представляющей собой вторую стадию работы, то есть не первоначальный черновик, но и не окончательную беловую, а перебеленный черновик, тут же еще раз подвергшийся обработке, которая в нем коснулась тринадцати стихов из двадцати семи с половиной, составляющих пьесу. Возможно, что данная редакция этих двадцати семи с половиной стихов — окончательная. Но это не значит, что мы имеем законченную пьесу. Напротив, можно сказать с уверенностью, что Пушкин собирался ее продолжать. В том убеждают ее содержание и построение.

В самом деле: первые шестнадцать с половиной стихов содержат гадливое описание пригородного кладбища, законченное энергически выраженным желанием: «хоть плюнуть да бежать». Со второй половины семнадцатого стиха мысль Пушкина обращается к иному зрелищу — кладбищу деревенскому, изображенному с любовью и благоговением. Но тут пьеса на полустихе обрывается. Перед нами оказывается лишь теза и антитеза, два кладбища, внушающие поэту глубоко противоположные чувства и мысли. Совершенно ясно, что на этом Пушкин остановиться не мог. Не только он, но и любой сколько-нибудь зрелый художник видел бы, что из данного противопоставления должен быть сделан некий философический или хотя живописно-эмоциональный вывод, что взятый в этих стихах аккорд требует разрешения. Нельзя сомневаться, что эти двадцать семь с половиной стихов — лишь экспозиция более обширной пьесы. То, что мы под стихами находим дату: 14 авг. 1836 Кам[енный] Остр[ов], — ничуть не меняет дела: таких дат, отмечающих не окончание, а лишь пройденный этап работы, у Пушкина сколько угодно, он любил их.

Уже с начала 1833 года отношения Пушкина с петербургским обществом и с двором стали портиться. «Свинский Петербург» становится ему все более мерзок. В приведенных стихах сквозь жестокое описание городского кладбища слышится полная готовность с такой же или с еще большей резкостью высказаться о самом городе. Лживое и неблаголепное прибежище, болото, где «гниют все мертвецы столицы», конечно, показано Пушкиным в качестве логического завершения такой же лживой и гнилой жизни мертвецов в их столице. Желание Пушкина «хоть плюнуть да бежать» с «публичного» городского кладбища,

чтобы посещать «кладбище родовое», заключает в себе желание бежать вообще из столицы в деревню. С какой силой оно владело Пушкиным в последние годы его жизни — слишком общеизвестно. Мне кажется, что именно эта тема и должна быть развита в дальнейших строках стихотворения. Скажу прямо и коротко: вполне можно предположить, что вслед за приведенными двадцатью семью с половиной стихами, после некоторого недостающего соединительного звена, должно было следовать то, что привыкли мы почитать самостоятельной пьесой:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
 Летят за днями дни, и каждый час уносит
 Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
 Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
 На свете счастья нет, но есть покой и воля.
 Давно завидная мечтается мне доля —
 Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Но на этом стихотворение не должно было заканчиваться. В его единственной (онегинской) редакции, представляющей также получерновик, вслед за стихами идет программа дальнейшего:

«Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, — тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, книги; труды поэтич. — семья, любовь etc. религия, смерть».

Комментируя эту рукопись, М.Л. Гофман замечает очень правильно: «Подчеркнутые Пушкиным слова в первой приписке (то есть до слова “домой”. — В.Х.), да и самый стиль ее, как будто говорят о том, что Пушкин переводил ее с английского языка и подчеркивал те слова, которые он или не точно передал, или которые выражали его затаенные желания, совпадали с ними. Что касается до второй приписки... то она носит явно более автобиографический характер. Не исключена возможность, что стихотворение Пушкина внушено каким-нибудь английским образцом, но совершенно несомненно, что мысли и образы, заключенные в нем, настолько совпадали с затаенными грезами поэта в 1834—1836 годах, что пьеса приняла характер поэтической исповеди».

Вот мне и сдается, что «Пора, мой друг, пора» и есть не самостоятельная пьеса (хотя издатели к ней присоединили заглавие «К жене»), а лишь продолжение стихотворения «Когда за городом». Окончание же набросано в виде программы и стихотворной обработке не подверглось (или эта обработка до нас не дошла). Оно должно было содержать мысли о достойной жизни после перенесения пенатов в деревню и о достойной кончине в лоне поэтических трудов, любви, семьи и религии. Тема смерти должна была связать конец с самым началом, с экспозицией, данной в «Когда за городом...».

Такой ход пьесы мне кажется тем более правдоподобным, что соответствует не только мыслям и настроениям «зрелого» Пушкина, но и находится во внутрен-

ней связи с некоторыми другими его стихами: с попытками перевода «Hymn to the Penates» Соути и особенно с черновым наброском:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

.....
На них основано семейство — проч.

Заканчивая эту заметку, еще раз подчеркиваю, что высказанное здесь мне представляется не более как гипотезой. Быть может, будущие находки пушкинских рукописей (на что, впрочем, мало надежды) ее подтвердят, быть может, опровергнут. В настоящую минуту для опровержения документальных данных не существует.